

**ДРУЖЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА ПУШКИНА
МИХАЙЛОВСКОГО ПЕРИОДА
(сентябрь 1824 г. — декабрь 1825 г.)**

Хотя письма Пушкина изучены основательно, специальный вопрос их художественного своеобразия исследован сравнительно мало. Анализ содержащегося в письмах поэта огромного биографического, делового, фактического материала оттеснил на второй план их изучение как явления литературы. К тому же различие за мощным информативным потоком переписки ее жанрового своеобразия представляет и само по себе непростую задачу.

Если исходить из представления о пушкинском письме как о специфическом жанре, стоящем на грани между документальной и художественной прозой, то естественно предположить, что письмо Пушкина как «младший» жанр претерпело эволюцию, в чем-то соответствующую общему творческому становлению поэта. В таком случае существенный смысл приобретает изучение его переписки по периодам. Между тем до сих пор письма писателя группировались, как обычно это делается, по «адресату» (письма к Жуковскому, письма к Вяземскому и т. д.), и тогда с точки зрения художественной на первом плане оказывалось свойство пушкинских писем «отражать» личность корреспондента (письмо П. А. Плетневу 1835 г. в чем-то более похоже на письмо ему же десятилетней давности, чем письмо Жуковскому 30-х гг.). Такой подход исключал возможность изучения эстетической организованности каждого эпистолярного периода. Создавая свои письма не для одной пары глаз (они предназначались, по крайней мере, для узкого круга родных и друзей), Пушкин видел своеобразное литературное задание не только в создании отдельного письма, но и целой очереди писем, объединенных некоей художественной общностью. Задача настоящей статьи проследить особенности писем Пушкина к друзьям в период михайловской ссылки от ее начала до декабрьского восстания.

Своеобразие дружеского письма Пушкина не раз привлекало внимание ученых. Исследователи (В. В. Сиповский, Л. П. Гроссман, Н. Л. Степанов, Г. О. Винокур, И. М. Семенко, Е. А. Маймин, Я. Л. Левкович, W. M. Todd III, И. А. Паперно,

С. Умрихина) отмечали как общие свойства дружеской переписки поэта ее содержательность, гуманизм, живую связь с реальностью окружающего мира, отсутствие субъективного пафоса, воссоздание в письмах образа адресата, раскованность, «разговорность», мозаичность, лаконизм — принципы, общие с реалистическим методом писателя. Представляется небезынтересным проследить, как некоторые из этих типологических особенностей находят конкретное выражение в переписке изучаемого нами периода. При таком подходе целесообразно сравнение с предыдущим периодом, в данном случае с перепиской времен южной ссылки.

Составляющие корреспонденцию этого периода 90 дружеских писем Пушкина могли бы представить материал для специальной монографии, освещающей вопрос своеобразия его переписки в годы ссылки. В настоящей небольшой работе мы ограничимся рассмотрением художественных особенностей переписки, связанных с ситуацией «игры» (Тригорское) и ситуацией «поднадзорного» (Михайловское).

Четко отграниченный во времени важными событиями в личной и общественной жизни изучаемый нами эпистолярный период отличается своеобразным сюжетным единством, приметы которого видны уже в построении «окаймляющих» его писем. Первое письмо из Михайловского А. Н. Вульф от 20/IX 1824 г. сочетает игровое стихотворение «Здравствуй, Вульф, приятель мой!» с деловым советом Пушкина писать ему «под двойным конвертом»¹. В последнем письме к А. П. Керн от 8/XII 1825 г. горечь ссыльного и ожидание перемен судьбы в связи со смертью Александра I высказаны в характерной «игровой» манере: «Не стоит верить надежде, она — лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем» (XIII, 550)².

Трагедия 14 декабря отмечена в письмах красноречивым знаком — более чем месячным молчанием. Если письма и писались, то посылались, по-видимому, с оказией и адресатом незамедлительно по получении уничтожались. А уже первое январское письмо 1826 г. к П. А. Плетневу несет черты нового периода: «неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них на милость царскую» (XIII, 256).

Типологические особенности писем изучаемого нами периода определены самой жизнью; в переписке нашли отражение,

¹ Многим корреспондентам Пушкин дает понять, что на Михайловское ему писать не следует: «Пиши мне: Ее высоко(одию) Парасковье Александровне Осиповой в Опочку, в село Тригорское» (XIII, 125).

² Оригинал по-французски. В дальнейшем по отношению к письмам Пушкина, адресованным женщинам, это обстоятельство оговариваться не будет.

условно говоря, два мира: «мир» Тригорского и «мир» Михайловского.

Соседство Тригорского существенно изменило характер «игрового» письма. Такие письма писались поэтом и в годы южной ссылки (например, письмо «арзамасцам» от 20/IX 1820 г.), но они сохраняли эпистолярную традицию «Арзамаса», т. е. отличались особой литературностью (пародия, снижение «высоких» штампов, каламбур) и шутливостью *мужского* братства (дружеские прозвища, намеки, кружковая семантика, нецензурная лексика) ³.

Отличие пушкинского игрового письма изучаемого нами периода определялось прежде всего участием женщин в эпистолярной игре. Увлеченность перепиской в Тригорском, царящая здесь атмосфера дружбы и влюбленности, ориентация на иную, по сравнению с «Арзамасом», «литературность» придают игровой манере письма новые черты, сообщающие ей сходство со своеобразным эпистолярным романом. Тесный дружеский круг партнеров по переписке закрепляет их ролевые позиции в этой эпистолярной игре. Шуточное «обманное» письмо, лукавая приписка к чужому посланию, коллективное письмо или торжественное коллективное сжигание «опасного» послания — вся эта игра в «царствие переписки» строится в какой мере по образцу эпистолярного романа ⁴.

Голос Пушкина в этом «полифоничном» романе больше других ориентирован на литературное задание. В его игровых письмах непосредственность впечатлений сочетается с позицией наблюдателя: «У меня с Тригорскими завязалось дело презабавное — некогда тебе рассказывать, а уморительно смешно» (XIII, 130). П. В. Анненков, отмечая эту особенность позиции Пушкина в Михайловском, когда поэт был одновременно и участником и зрителем событий, писал: «Он был светилом, вокруг которого вращалась вся эта жизнь, и потешался ею, даже и тогда, когда все думали, что он плывет без оглядки вместе с нею» ⁵.

Игровые письма Пушкина сочетают установку на «литературность» (например, пародийное подражание «Опасным связям» Шодерло де Лакло), с шуточным подыгрыванием корреспонденту. Наиболее характерный пример пушкинского игрового письма — написанное позже его послание к А. Н. Вульфу из Малинников 27/X 1828 г., начинающееся обращением «Твер-

³ См.: М. И. Гиллельсон. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., «Наука», 1974; William Mills Todd III. The Familiar Letter as a Literary Genre in the Age of Pushkin. Studies of the Russian Institute, Columbia University, Princeton, New Jersey, 1976.

⁴ См.: Л. И. Вольперт. Пушкин и Шодерло де Лакло. (На пути к «Роману в письмах»). Пушкинский сборник, Псков, 1972.

⁵ П. В. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб, 1874. с. 282.

ской Ловлас С.-Петербургскому Вальмону здоровья и успехов желает»⁶.

В изучаемый нами период меняется и характер любовного письма Пушкина. Письма соответственного содержания времен южной ссылки (например, «Неизвестной» от июля 1823 г.) проникнуты серьезной интонацией, в них нет и намек на игру. Между тем в Михайловском атмосфера игры сказывается и на любовном письме, эпистолярное раскрытие даже глубокого увлечения подчиняется негласно принятым законам переписки. Прежде всего ни у кого нет уверенности, что письмо пишется для одной пары глаз. «Наши письма наверное будут перехватывать, прочитывать, обсуждать и потом торжественно предавать сожжению» (XIII, 546), — пишет Пушкин А. П. Керн 8/VIII 1825 г. Любовное письмо не исключает «коллективного авторства»⁷. Письмо к А. П. Керн от 8/XII 1825 г., кончающееся шутливым признанием, учитывает, по-видимому, осведомленность «соавтора» (Анны Николаевны Вульф): «снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости» (XIII, 550). В этом мире игры возможны одинаковые любовные письма, написанные одновременно разным корреспонденткам: «Я была бы довольна вашим письмом, если бы не помнила, что вы писали такие же, и даже еще более нежные, в моем присутствии Анете Керн, а также к Нетти» (XIII, 554), — заметит позже А. Н. Вульф.

В свете понимания общей установки на игру по-другому «прочитываются» и любовные письма Пушкина к А. П. Керн. Известно, что в оценке писем Пушкина к ней исследователи разошлись. Некоторые (Б. Л. Модзалевский) увидел в них только искренний порыв, горячее чувство, другие (П. И. Новицкий, А. Ахматова, П. К. Губер, Л. П. Гроссман) усмотрели в них черты «галантности», тактики любовной науки⁸. Если бы исследователи с самого начала приняли во внимание общую обстановку Тригорского и характер всей переписки, то этот спор, возможно, и не возник бы как беспредметный. Письма Пушкина к А. П. Керн (при всей серьезности его чувства

⁶ Подробно это письмо нами проанализировано в вышеупомянутой статье «Пушкин и Шодерло де Лакло».

⁷ Игровой элемент шуточного «коллективного авторства» — в обыгрывании «мужской» и «женской» авторских позиций, в сочетании «русской» и «французской» эпистолярной речи. См.: И. А. Паперно. О двуязычной переписке пушкинской поры. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Тарту, 1975, с. 148—156.

⁸ Эти черты характерны и для своеобразного любовного письма Пушкина А. П. Керн, составленного из подчеркнутых строк романа Ю. Крюденер «Валери» (См.: Л. И. Вольперт. Загадка одной книги из библиотеки Пушкина (Поэты на романе Ю. Крюденер «Valérie»). Пушкинский сборник. Псков, 1973).

к ней) писались им в духе популярной тогда в Тригорском эпистолярной игры. Негласно принятые «правила» сближали эпистолярную игру с романом и потому приобретали в глазах Пушкина особую прелесть. С удовлетворением отмечая, как славно «построен» этот по-своему поучительный «эпистолярный роман», он с очевидным удовольствием пишет А. П. Керн: «Но полюбуйте, как с божьей помощью все перемешалось: г-жа Осипова распечатывает письмо к вам, вы распечатываете письмо к ней, я распечатываю письмо Нетти, — и все мы находим в них нечто для себя назидательное — поистине это восхитительно!» (XIII, 547). Игровое (дружеское и любовное) письмо Пушкина — важный этап в становлении его мастерства как прозаика. Шуточное «подыгрывание» корреспонденту — не только игра, но и творческое постижение сложности психологического характера, которое в дальнейшем определит в какой-то мере многообразие героя и авторского образа пушкинской прозы. Эпистолярная «маска», сочетающая непосредственность мироощущения с установкой на «литературное задание», помогает постижению разнообразных «точек зрения» и «жизненных позиций» («Арап Петра Великого», «Роман в письмах», «Неоконченные отрывки»).

Характерная особенность переписки этого периода — сочетание в письмах игровой радостной настроенности с тоской и горечью. С одной стороны, письма создают впечатление мира радости, веселого озорства и молодости. С другой стороны, такого рода признания, как «Михайловское душно для меня», «умираю от скуки», «кюхельбекерно», «глухая деревня» — составляют неизменный мотив всей переписки. В сочетании двух столь противоположных настроений, исключающих, казалось бы, друг друга, в их диапазоне сказывается пушкинская широта характера и полнота восприятия жизни.

В постоянных жалобах на тоску, скуку, одиночество («у меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии» — XIII, 541) отражается не только созвучная времени «байроническая» ситуация — ссыльный поэт пишет друзьям на свободе⁹ — но и подлинная горечь унижительного положения ссыльного. Пребывание на юге подлинной ссылкой не являлось, это был лишь перевод по службе под начало добрейшего генерала Инзова. Сам Пушкин, возможно и не без некоторого тактического преувеличения, в черновике письма Александру I скажет об этом переводе так: «...великодушный

⁹ Следы легкой стилизации заметны в письмах, адресованных не самым интимным друзьям. Например, — Д. М. Шварцу («Уединение мое совершенно — праздность торжественна» (XIII, 129) «целый день верхом — вечером слушаю сказки моей няни» (XIII, 129). Они видны и во французских письмах к дамам («votre hermite» (XIII, 205), «l'exil de Trigorsky» (XIII, 196).

и мягкий образ действия власти глубоко тронул меня» (XIII, 549).

Особенно тягостно для Пушкина положение поднадзорного. «Надзирающих» много (Рокотов, Пещуров, Иона, Сергей Львович, Адеркас), подозревается даже и генерал Керн¹⁰. Положение поднадзорного пробуждает у Пушкина интерес к вопросам, касающимся деятельности тайной полиции, и в частности, к «Запискам» Фуше. «Милый мой, если только возможно, отыщи, купи, выпроси, укради *Записки* Фуше и давай мне их сюда; за них отдал бы я всего Шекспира... Он по мне очаровательнее Байрона» (XIII, 142), — пишет он брату¹¹.

В переписке положение поднадзорности сказывается недвусмысленно и прямо: меняется самый характер письма. Ощущение опасности, исходящей от всякой независимой переписки, было знакомо Пушкину и в южной ссылке, но тогда эта опасность не коснулась его еще на деле. Теперь она стала жизненным опытом, и Пушкин то и дело подчеркивает причину ссылки: «Я сослан за строчку глупого письма» (XIII, 124), «за две строчки нерелигиозные» (XIII, 256) «за две строчки перехваченного письма» (XIII, 259). Возможность перлюстрации учитывается и в содержании и в оформлении писем. Советы друзьям, как с помощью двойного конверта под чужим адресом избежать перлюстрации, были одновременно скрытыми указаниями на то, каким должно быть и содержание писем¹².

В этих условиях большое значение приобрела «оказия», которая создавала возможность писать более свободно. Поэтому для исследователя переписки этого периода важно знать, каким способом пересылалось письмо. Прелесть «оказии» Пушкин постиг уже на юге: «Я бы хотел знать, нельзя ли в переписке нашей избежать как-нибудь почты» (XIII, 82), — спрашивает он у Вяземского 20/XII 1824 г. Тогда же он запечатлел свою нелюбовь к «почте» в шутовском «*bon mot*»: «Сходнее нам в Азии писать по оказии» (XIII, 82) и считал важным информировать точно своего корреспондента на этот счет («письмо твое я получил через Фурнье и отвечал по почте» (XIII, 82)).

В период михайловской ссылки «оказией» Пушкин и его друзья пользуются при всякой возможности (Вульфус с Рокотовым, Льву с Ольгой, Вяземскому с Горчаковым и т. д.). «Оказия» может и раздражать, так как заставляет себя

¹⁰ «Что такое говорил вам г-н Керн касательно отеческого надзора за мною г-на Адеркаса — положительное ли это приказание? Имеет ли к этому отношение сам г-н Керн?» (XIII, 542) — спрашивает Пушкин П. А. Осипову 8/VIII 1825 г.

¹¹ Позже он дважды обращается ко Льву с этой просьбой, причем помещает «Записки» Фуше в список просимых книг под номером один.

¹² «Пришли письма под двойным конвертом на имя сестры твоей» (XIII, 109).

ждать: «или ждешь оказии, — спрашивает Пушкин у Дельвига, — проклятая оказия» (XIII, 181).

Во времена южной ссылки «оказия» представлялась Пушкину надежной гарантией от неприятностей: «Пиши мне помяст, если по почте, так осторожно, а по оказии, что хочешь» (XIII, 58). В Михайловском и оказия не считается достаточной гарантией от неприятностей: «Тут я по глупости лет послал тебе святочную песенку, — пишет Пушкин брату 20/XII 1824 г. — Ветренный юноша Рокотов может письмо и затерять, а ничуть не забавно мне попасть в крепость pour les chansons» (XIII, 130). Многие темы и мотивы исключены теперь и в письмах, посланных по «оказии». Например, в переписке южной ссылки то и дело встречались кощунственные шутки, озорное богохульство («глуп как архирейский жезл» (XIII, 60), «умеренного демократа И.<исуса> Х.<риста>» (XIII, 79), «сочинение во вкусе Апокалипсиса» (XIII, 29). Но после того, как фраза из письма Пушкина «беру уроки чистого афеизма» (XIII, 92) послужила властям предлогом для ссылки его в Михайловское, кощунственные шутки исчезают и из писем, посланных с «оказией».

Дружеские письма Пушкина этих лет, как и его переписка предшествующего периода, полны фактическим материалом, заботами о судьбах отечественной словесности, литературными откликами и спорами. Он весь захвачен интересами большого окружающего его мира. И даже его личные переживания, связанные с положением поднадзорного, при всей их субъективности отражают черты времени, политическую атмосферу России накануне восстания декабристов.

Прямо касаться политики в корреспонденции из Михайловского Пушкин, разумеется, не мог. Письма, подобные посланию В. Л. Давыдову из Кишинева (март 1821 г.) с описанием восстания А. Ипсиланти, теперь исключены. Зато в переписке периода северной ссылки разрабатывается поэтика различных форм иносказания: намек, подтекст, «славные обиняки».

«Механизмы» эпистолярного эзопова, языка были известны и «арзамасцам». Во многом они были восприняты от французских публицистов «века Вольтера». Однако «арзамасцы», которые не испытали на себе с такой силой, как Пушкин, «удар карающей власти»¹³, чувствовали себя в переписке свободнее. Особенно до 1820 г., когда и в Европе и в России значительно усилилась реакция. Первый том Остафьевского архива свидетельствует об этом со всей очевидностью. П. А. Вяземский и А. И. Тургенев в письмах друг другу открыто возмущались крепостничеством, беззаконием в России, и т. п. «Нельзя однако же русскому не пожалеть, что между тем как поляки посылают

¹³ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. III. СПб, 1899, с. 107. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома и страницы.

представителей, судят и отвергают проекты законов, мы не имеем право говорить о ненавистном рабстве крестьян, не смеем показывать всю его мерзость и беззаконие», — писал А. И. Тургенев Вяземскому (О. А., I, 103). Вяземский в письме к А. И. Тургеневу возмущался продажей Миларадовичем крепостных в такой форме: «И после этого мы не в Турции, не людоеды!» (О. А., I, 289). Хотя они, естественно, и не всё доверяли бумаге, практически они учитывали возможность перлюстрации в том случае, когда неосторожность могла подвести под удар другого. «Пушкин переписал для тебя стансы на с<вободу>, но я боюсь и за него и за тебя послать их тебе», — пишет А. И. Тургенев Вяземскому 22/X 1819 (О. А., I, 335).

Однако постепенно Вяземский в переписке становится все осторожнее. Ощущение опасности ему было знакомо и раньше («так Сибирью на меня и несет» (О. А., I, 116), но в ранних письмах он не очень прислушивался к «гласу тревоги». Показательны изменения в стиле его высказываний о царе. В письмах 1816—1819 гг. он иронизирует над Александром открыто, сравнивает его с актером («что мне за дело до души актера») (О. А., I, 142), обвиняет его в том, что он «всю Россию превратил в желтый дом» (О. А., I, 135), утверждает, что немилость царская для честного человека — высшее отличие («печать отвержения царского — тот «светел месяц» во лбу, кому поклоняюсь» (О. А., I, 262). Если и встречаются в этот период эвфемизмы в обозначении царя, то легко расшифровывающиеся («А о Буке я, кажется, ни слова не сказал» (О. А., I, 152). Ср. с пушкинскими строками из «Ноэлей»: «Вот бука, бука — русский царь»).

В письмах 1820—1824 гг. стиль высказываний Вяземского о царе меняется. Второй том Остафьевского архива таит много намеков, «обиняков», своеобразных эвфемизмов в обозначении царя. Вяземский пишет «о человеке в Петербурге, который корчит Наполеона» (О. А., II, 14), о «газетном герое, на коего курс страшно унал с некоторого времени» (О. А., II, 33), о «сентиментальных путешественниках, с которыми ужиться невозможно» (О. А., II, 64). К такому способу разговора о царе, как будет видно дальше, обратился и Пушкин.

Вопросов политики ссыльный поэт в письмах касается редко и чаще всего опосредованно (например, разговор о «смутном времени» таит намек на современность и т. п.). И все же в какой-то мере связанными с общественно-политическими проблемами эпохи оказываются многие важнейшие мотивы переписки «мира» Михайловского: крепость, побег, царь, «Борис Годунов», юродивый. Эти темы, как своеобразные лейтмотивы, переплетаются в письмах к разным корреспондентам, вновь и вновь обыгрываются, принимая характер некоей стилизованной игры.

В качестве одного из таких лейтмотивов в переписке этого периода выступает мотив крепости. Он звучит лишь в письмах к самым близким людям (к брату Льву Сергеевичу, Вяземскому, Жуковскому, П. А. Осиповой), т. к. требует абсолютно доверия. Особенное звучание этой темы в письмах из Михайловского хорошо объясняется при сопоставлении с двумя смежными периодами. Образ крепости появляется уже в письмах Пушкина с юга, в которых он часто был связан с образом царя («такому-то в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости») (XIII, 86). Судьбы Семеновского полка, разжалованного в солдаты П. А. Габбе, В. Ф. Раевского^{13а}, придавали этой теме определенную значимость. Все же в годы южной ссылки угроза крепости воспринималась Пушкиным как далекая, упоминания о ней редки и не составляют системы. В период же после восстания декабристов крепость становится реальной угрозой, поводом для постоянных раздумий, и эта тема уже не может быть предметом иронии, шутки, в связи с чем и вовсе исчезает из переписки.

В изучаемый нами период тема крепости возникает часто как раз в ироническом и шутливом контексте. «Друзья обо мне так хлопочут, что в конце концов меня посадят в Шлиссельбургскую крепость, где уж конечно не будет рядом Тригорского» (XII, 540), — пишет он П. А. Осиповой 25/VII 1825 г. Ирония звучит и в его братских назиданиях Льву: «Твои опасения на счет приезда ко мне вовсе несправедливы. Я не в Шлиссельбурге» (XIII, 142) или «а ничуть не забавно мне попасть в крепость pour les chansons» (XII, 130). Шутливо звучит и наставление брату по поводу картинки к «Евгению Онегину», на которой Пушкин изобразил себя устремившим взгляд на крепость: «вот тебе картинка для «Онегина» — найди искусный и быстрый карандаш. Если и будет другая, так чтоб в том же *местоположении*. Та же сцена, слышишь ли: Это мне нужно непременно» (XIII, 119)¹⁴. Однако в письмах к Жуковскому и Адеркасу (черновое) тема эта звучит как подлинно драматическая: «Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловец-

^{13 а} Пушкин принимал очень близко судьбу В. Ф. Раевского, томящегося в Тираспольской крепости, собирался к нему проникнуть, добился разрешения, но опасаясь провокации, от этого замысла отказался.

¹⁴ Когда в «Невском альманахе на 1829 год» художник Нотбек изменил «местоположение», Пушкин мгновенно откликнулся шутливым стихком:

Вот перешед чрез мост Кокушкин,
Опершись <...> о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С месье Онегиным стоит.
Не удостоивая взглядом
Твердыню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом:
Не плюй в колодец, милый мой. (III, 165)

ким монастырем» (XIII, 116). «Решился для его (отца — Л. В.) спокойствия просить его императорское величество да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей» (XIII, 116).

7А. С темой крепости неразрывно связаны мотив побега за границу и мотив царя. Для обоих этих мотивов такие стиливые приемы, как иносказание, зашифровка, эзопов язык, имеют особую значимость. Бесконечные переговоры с К. Н. Вульфом о «коляске», выработка с ним «маршрутов», разговоры о «типографии», «наборщиках», обсуждение с друзьями замысла операции «аневризма» — все это более или менее зашифрованный разговор о побеге. Такие слова как «коляска», «маршрут», «дорога», выражающие идею пути и движения, становятся своеобразными символами побега. Сочетание «эзопова» языка с иронией придает зашифрованному разговору о побеге особую живость. «Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо, — пишет он Льву и тут же добавляет. — «Когда ты будешь у меня, то станем трактовать о *банкире, переписке, месте пребывания Чаадаева*. Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться» (XIII, 131). Пушкин выделяет курсивом зашифрованные пункты побега. В шутивном расчете на перлюстрацию ирония в смысловой игре: одна пара глаз должна прочесть одно, другая — совсем иное.

Мечта Пушкина уехать куда глаза глядят еще на юге естественно ассоциировалась с образом царя: «Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича о своем отпуске через его министров — два раза воспоследовал всемилоостивый отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь». (XIII, 86). Здесь ирония в эвфемистических обозначениях царя, уточнении его местожительства и бытовых реалиях побега. Но упоминания о царе еще редки.

В переписке Михайловского тема царя звучит постоянным лейтмотивом. Устойчивость характеристик Александра в соединении с подчеркнутыми стиливыми особенностями (эвфемистические обозначения, иносказание, намек) создают образ царя. «Иван Иванович», «наш приятель», «самый Белый», «Тот», «Август», «Тиберий» — все эти обозначения при формальном разнообразии имеют смысловую общность, в них не только зашифровка, но и скрытая ирония. В других случаях ирония выражена явно и недвусмысленно. Получив известие о смерти царя и полагая, что у власти стал Константин, Пушкин в письме к Катенину, используя скрытое сравнение, отзывается об Александре весьма иронически: «К тому ж он (Константин — Л. В.) умен, а с умными людьми все как-то лучше» (XIII, 247). Если он упоминает о «человеколюбии», «велико-

души» царя, то всякий раз с тайной издевкой: «Тут есть одно *великодушие*, поставленное, во-первых, ради цензуры, а, во-вторых, для вящего *анонима*» (XIII, 188)¹⁵.

Тема царя ассоциируется в письмах этого периода с темой «Бориса Годунова». Работа над трагедией помогала поэту осмыслить современность, а проблемы современности способствовали более глубокому проникновению в «смутное время». Десятый и одиннадцатый тома «Истории государства российского» воспринимаются Пушкиным в свете событий современности: «Что за чудо эти два последние тома Карамзина. С'est palpitant comme la gazette d'hier» (XIII, 211). («Это животрепещущее как вчерашняя газета»). Он улавливает тайный ход мысли Карамзина, который не все еще мог сказать¹⁶, допускает сам «славные обиняки». «Я требую, чтобы прежде чем читать ее, вы перелистали последний том Карамзина. Она полна славных шуток и тонких намеков, относящихся к истории того времени, вроде наших киевских и каменных обиняков» (XIV, 395), — напишет он позднее Н. Н. Раевскому, посылая ему свою трагедию.

Восприятие своего времени как «смутного», раздумья над этическими проблемами политики (невозможность быть одновременно самодержцем и нравственным человеком), вопрос об узурпации власти (Наполеон, Александр I), мысль об участии царя в заговоре 11 марта 1801 г. — весь этот сложный комплекс проблем присутствует в сознании Пушкина и определяет в переписке скрытую связь темы царя с разговором о трагедии. Аналогия Борис — Александр, которая в пьесе заглушена¹⁷, в письмах раскрывается со всей очевидностью.

По отношению к своему времени Пушкин чувствует себя одновременно Пименом¹⁸ и юродивым: «В самом деле не пойти ли мне в юродивые, авось буду блаженнее!» (XIII, 226).

¹⁵ Пушкин разъясняет Вяземскому смысл упоминания о «великодушии» царя в статье «О г-же Сталь и о Г. А. М-ве». См.: Л. И. Вольперт. Пушкин и мадам де Сталь. (К вопросу о политических взглядах Пушкина до декабрьского восстания). Французский ежегодник 1972 г., М., 1974.

¹⁶ «Они забывают, что Карамзин печатал Историю свою в России» (XII, 36).

¹⁷ Пушкин исключил из окончательного текста строки, создавшие слишком прямую аллюзию:

Беда тебе, Борис Лукавый!
Царевич теню кровавой
Войдет со мной в твой светлый дом.

(А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание третье. М., т. 5, 1964, с. 568).

¹⁸ В первом варианте названия обозначение автора перекликалось с образом летописца: «писал раб божий Александр, сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Ворониче». В черновике трагедии Пимен говорит о «товарищах начальных лет»:

Как ласки мне их радостны бывали
Как живо жгли мне сердце их обиды. (VII, 281).

Народное представление о юродстве, как форме высказывания истины царям, определяет социальную маску Пушкина. Он убежден, что и Александр легко разгадает его тайный умысел: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (XIII, 240), — писал он в известном письме к Вяземскому. Восклицание «Торчат!» — шуточный ответ Жуковскому, советовавшему Пушкину «выехать в лицах юродивого» (XIII, 224), т. е. постараться при помощи этого образа засвидетельствовать свою лояльность в отношении царя. Пушкин поступает как раз наоборот. Если Карамзин в «Истории государства российского» сообщал о Николе Псковском только факты¹⁹, то Пушкин путем «байронической» трактовки обогащает образ, делает его одним из центральных. Перечисляя в письме Вяземскому действующие лица своей трагедии, он ставит юродивого на первое место: «Юродивый мой малый презабавный» (XIII, 240). Хотя Николка Железный колпак появляется в трагедии всего один раз, сцена эта — одна из самых важных в пьесе. Письма отражают тщательность работы над нею Пушкина: «Нельзя ли мне достать или жизнь Железного колпака или житие какого-нибудь юродивого» (XIII, 212). Тема колпака становится одним из лейтмотивов переписки: «Благодарю от души Карамзина за Железный колпак, что он мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать» (XIII, 226).

Тематико-жанровые особенности дружеского письма Пушкина этого периода целесообразно проследить на примере какого-либо одного характерного письма, цельный анализ которого может много дать для уяснения особенностей пушкинской переписки того времени. В качестве такого письма возьмем послание к П. А. Плетневу от 4—6 декабря 1825 г.

Написанное вскоре после получения Пушкиным известия о смерти Александра I, это короткое письмо представляет собой как бы завершение главных мотивов переписки михайловского периода и замечательный образец эпистолярного мастерства Пушкина. Известие о смерти царя принесло чувство освобождения. Письмо отличается очевидной раскованностью, вызванной и радостью, и полным доверием к корреспонденту, и, возможно, тем, что оно, по всей видимости, пересылалось с оказией (к нему приложены еще письма к Кюхельбекеру и Воейкову). Настроение ликования в нем переливается через край. В написанном за два дня до того письме к П. А. Катенину, с которым Пушкин был достаточно далек в это время, высказывания о смерти царя сдержанны и осторожны: «Как вер-

¹⁹ См.: Н. Грановская. Юродивый в трагедии Пушкина. «Русская литература». 1964, № 2.

ный поданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя; но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма» (XIII, 247). Однако «раскованность» не означает забвение осторожности, и в письме к Плетневу ничего не сказано прямо. Радость по поводу известия о смерти царя выражена в завуалированном виде. Александр прямо не назван и лишь незримо присутствует в тексте с характеристикой «тиран»: «Я «Андрея Шенье» велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына etc». В элегии «Андрей Шенье» Пушкин предсказывал царю гибель («умрешь, тиран!»), и пророчество сбылось²⁰.

С известием о смерти царя воскресли надежды Пушкина на перемену судьбы. Он ничего не знает о междоусобице, полагая, что на престол уже взошел Константин, и полон радостного ожидания изменений: «ради бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; черт ли в них? а просить или о въезде в столицу, или о чужих краях». Больше не нужно думать о побеге, необходимость тайных действий исчезла, и Пушкин весело решает дилемму: «В столицу хочется мне для вас, друзья мои, — хочется с вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благоразумнее было бы отправиться за море».

Сразу же после упоминания об «Андрее Шенье», в подтексте которого возникал образ умершего царя, Пушкин безо всякого, казалось бы, логического перехода переводит разговор на трагедию: «— выписывайте меня, красавцы мои, а то не я прочту вам трагедию свою». Для знающих особенности всей переписки периода такой переход не только не лишен внутренней логики, но и вполне закономерен. Тема царя влечет за собой тему «Бориса Годунова», которая в свою очередь, определяет всплытие мотива «юродивого».

В письме к Плетневу этот мотив выдвигается в качестве как бы некоторого типологического мотива: «Кстати: Борька тоже вывел юродивого в своем романе. И он байроничает, описывает самого себя! Мой юродивый, впрочем, гораздо милее Борьки — увидишь». Формула «и он байроничает, описывает самого себя» характеризует одновременно в духе иронии позицию Б. М. Федорова и объясняет собственную позицию в «Борисе Годунове».

Социальная маска юродивого определяет в известной мере и тип языкового поведения Пушкина в этом письме. Настроение ликования отлилось в язык, чем-то напоминающий скомороший. Уже первая фраза письма дает одновременную установку на важность содержания («Милый, дело не до стихов»)

²⁰ Желая намекнуть на участие Александра в заговоре 11 марта 1801 г., подобный прием Пушкин использовал и в публицистике. См.: Л. И. Вольперт. Еще о «славной шутке» госпожи де Сталь. Временник пушкинской комиссии 1972, Л., 1973.

и на некоторый нелитературный способ выражения («*слушай в оба уха*»). Накануне в письме к Кюхельбекеру Пушкин характеризовал выражение «слушай в оба уха» как «не точно русское», неуместное в литературном тексте. Письмо Плетневу — шуточный урок стилистики Кюхельбекеру, тем более, что письмо к лицейскому другу будет отправлено через Плетнева («вот тебе письма к двум еще юродивым»). Используя выражение из своего же письма (Пушкин выделяет слова «слушай в оба уха» курсивом), он создает контекст, в котором это выражение оправдано. Особая манера письма, близкая к сказовой, складывается из сочетания разных видов иносказания (эзопов язык, намек) с разнообразными формами народной речи. Использование языка поговорки («Если братъ, то братъ, не то, что и совести марать»²⁴), раскованность («черт ли в них», «хочется с вами еще перед смертью поврать»), возобновившиеся кощунственные шутки («церковными буквами во имя отца и сына»), фамильярное обращение («красавцы мои»), стилевая ирония («да нельзя ли дам взбудоражить?») — создают неповторимый стиль письма. Послание к П. А. Плетневу проясняет своеобразие дружеского письма Пушкина, как письма *художественного*, сконцентрировавшего многие черты пушкинской прозы.

Таким образом, переписка «мира» Михайловского и «мира» Тригорского глубоко связана с художественным творчеством Пушкина. Прямая линия от писем ведет к «Роману в письмах», к «Капитанской дочке», к поздней пушкинской прозе.

²⁴ В этих словах игра не только с фольклорной, но и с литературной традицией, поскольку они являются реминисценцией из басни Крылова «Вороненок».

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. А. И. ГЕРЦЕНА

ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ЛЕНИНГРАД · 1977